

НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ
ЧЕРНЫШЕВСКИЙ

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Николай Чернышевский

Что делать?

Серия «Русская классика (АСТ)»

Текст предоставлен правообладателем

<https://litres.ru/11164513>

Что делать? / Николай Гаврилович Чернышевский.: АСТ; Москва; 2017

ISBN 978-5-17-105122-8

Аннотация

<p>Наверное, в русской литературе XIX века не было романа более скандального, чем «Что делать?», – книга, впервые опубликованная в 1862 году, тотчас же запрещенная цензурой и тем не менее известная каждому российскому читателю. Этим романом, переведенным на 9 языков еще при жизни автора, восхищались Кропоткин, Золя и Стриндберг и возмущались Достоевский и Лесков, его либо безоговорочно принимали, либо столь же безоговорочно отрицали. Но что именно столь сенсационного и опасного нашли современники в произведении, о котором сам автор писал, что в нем лишь «хотел изобразить обыкновенных порядочных людей нового поколения»?..</p>

Содержание

I. Дурак	4
II. Первое следствие дурацкого дела	8
III. Предисловие	15
Глава первая	19
I	19
II	35
III	43
IV	48
V	55
VI	60
VII	64
VIII	70
Конец ознакомительного фрагмента.	76

Николай Гаврилович Чернышевский Что делать?

Посвящается моему другу О. С. Ч.

І. Дурак

Поутру 11 июля 1856 года прислуга одной из больших петербургских гостиниц у станции Московской железной дороги была в недоумении, отчасти даже в тревоге. Накануне, в 9-м часу вечера, приехал господин с чемоданом, занял номер, отдал для прописки свой паспорт, спросил себе чаю и котлетку, сказал, чтоб его не тревожили вечером, потому что он устал и хочет спать, но чтобы завтра непременно разбудили в 8 часов, потому что у него есть спешные дела, запер дверь номера и, пошумев ножом и вилокю, пошумев чайным прибором, скоро притих, – видно, заснул. Пришло утро; в 8 часов слуга постучался к вчерашнему приезжему – приезжий не подает голоса; слуга постучался сильнее, очень сильно – приезжий все не откликается. Видно, крепко устал. Слуга подождал четверть часа, опять стал будить, опять не добудился. Стал советоваться с другими слугами, с буфетчи-

ком. «Уж не случилось ли с ним чего?» – «Надо выломать двери». – «Нет, так не годится: дверь ломать надо с полицией». Решили: попытаться будить еще раз, посильнее; если и тут не проснется, послать за полицией. Сделали последнюю пробу; не добились; послали за полицией и теперь ждут, что увидят с нею.

Часам к 10-ти утра пришел полицейский чиновник, постучался сам, велел слугам постучаться, – успех тот же, как и прежде. «Нечего делать, ломай дверь, ребята».

Дверь выломали. Комната пуста. «Загляните-ко под кровать» – и под кроватью нет проезжего. Полицейский чиновник подошел к столу, – на столе лежал лист бумаги, а на нем крупными буквами было написано:

«Ухожу в 11 часов вечера и не возвращусь. Меня услышат на Литейном мосту, между 2-мя и 3-мя часами ночи. Подозрений ни на кого не иметь».

– Так вот оно, штука-то теперь и понятна, а то никак не могли сообразить, – сказал полицейский чиновник.

– Что же такое, Иван Афанасьевич? – спросил буфетчик.

– Давайте чаю, расскажу.

Рассказ полицейского чиновника долго служил предметом одушевленных пересказов и рассуждений в гостинице. История была вот какого рода.

В половине 3-го часа ночи – а ночь была облачная, темная – на середине Литейного моста сверкнул огонь, и послышался pistolетный выстрел. Бросились на выстрел караульные

служители, сбежались малочисленные прохожие, – никого и ничего не было на том месте, где раздался выстрел. Значит, не застрелил, а застрелился. Нашлись охотники нырять, притащили через несколько времени багры, притащили даже какую-то рыбацкую сеть, ныряли, нащупывали, ловили, поймали полсотни больших щеп, но тела не нашли и не поймали. Да и как найти? – ночь темная. Оно в эти два часа уж на взморье, – поди, ищи там. Поэтому возникли прогрессисты, отвергнувшие прежнее предположение: «А может быть, и не было никакого тела? может быть, пьяный, или просто озорник, подурачился, – выстрелил, да и убежал, – а то, пожалуй, тут же стоит в хлопочущей толпе да подсмеивается над тревогою, какую наделал».

Но большинство, как всегда, когда рассуждает благоразумно, оказалось консервативно и защищало старое: «какое подурачился – пустил себе пулю в лоб, да и все тут». Прогрессисты были побеждены. Но победившая партия, как всегда, разделилась тотчас после победы. Застрелился, так; но отчего? «Пьяный», – было мнение одних консерваторов; «промотался», – утверждали другие консерваторы. – «Просто дурак», – сказал кто-то. На этом «просто дурак» сошлись все, даже и те, которые отвергали, что он застрелился. Действительно, пьяный ли, промотавшийся ли застрелился, или озорник, вовсе не застрелился, а только выкинул штуку, – все равно, глупая, дурацкая штука.

На этом остановилось дело на мосту ночью. Поутру, в го-

стинице у Московской железной дороги, обнаружилось, что дурак не подумался, а застрелился. Но остался в результате истории элемент, с которым были согласны и побежденные, именно, что если и не пошалил, а застрелился, то все-таки дурак. Этот удовлетворительный для всех результат особенно прочен был именно потому, что восторжествовали консерваторы: в самом деле, если бы только пошалил выстрелом на мосту, то ведь, в сущности, было бы еще сомнительно, дурак ли, или только озорник. Но застрелился на мосту, – кто же стреляется на мосту? Как же это на мосту? Зачем на мосту? глупо на мосту! – и потому, несомненно, дурак.

Опять явилось у некоторых сомнение: застрелился на мосту; на мосту не стреляются, – следовательно, не застрелился. – Но к вечеру прислуга гостиницы была позвана в часть смотреть вытащенную из воды простреленную фуражку, – все признали, что фуражка та самая, которая была на проезжем. Итак, несомненно застрелился, и дух отрицания и прогресса побежден окончательно.

Все были согласны, что «дурак», – и вдруг все заговорили: на мосту – ловкая штука! Это чтобы, значит, не мучиться долго, коли не удастся хорошо выстрелить, – умно рассудил! От всякой раны свалится в воду и захлебнется, прежде чем опомнится, – да, на мосту... умно!

Теперь уж ровно ничего нельзя было разобрать, – и дурак, и умно.

II. Первое следствие дурацкого дела

В то же самое утро, часу в 12-м, молодая дама сидела в одной из трех комнат маленькой дачи на Каменном острове, шила и вполголоса напевала французскую песенку, бойкую, смелую.

«Мы бедны, – говорила песенка, – но мы рабочие люди, у нас здоровые руки. Мы темны, но мы не глупы и хотим света. Будем учиться – знание освободит нас; будем трудиться – труд обогатит нас, – это дело пойдет, – поживем, доживем —

Ga ira,
Qui vivra, verra¹.

Мы грубы, но от нашей грубости терпим мы же сами. Мы исполнены предрассудков, но ведь мы же сами страдаем от них, это чувствуется нами. Будем искать счастья, и найдем гуманность, и станем добры, – это дело пойдет, – поживем, доживем.

Труд без знания бесплоден, наше счастье невозможно без счастья других. Просветимся – и обогатимся; будем счастливы – и будем братья и сестры, – это дело пойдет, – поживем,

¹ Дело пойдет, Кто будет жить, увидит(фр.).

доживем.

Будем учиться и трудиться, будем петь и любить, будет рай на земле. Будем же веселы жизнью, – это дело пойдет, оно скоро придет, все дождемся его, —

Donc, vivons,
Ça bien vite ira,

Ça viendra,
Nous tous le verrons»².

Смелая, бойкая была песенка, и ее мелодия была веселая, – было в ней две-три грустные ноты, но они покрывались общим светлым характером мотива, исчезали в рефрене, исчезали во всем заключительном куплете, – по крайней мере, должны были покрываться, исчезать, – и исчезали бы, если бы дама была в другом расположении духа; но теперь у ней эти немногие грустные ноты звучали слышнее других, она как будто встрепетается, заметив это, понизит на них голос и сильнее начнет петь веселые звуки, их сменяющие, но вот она опять унесется мыслями от песни к своей думе, и опять грустные звуки берут верх. Видно, что молодая дама не любит поддаваться грусти; только видно, что грусть не хочет отстать от нее, как ни отталкивает она ее от себя. Но грустна ли веселая песня, становится ли опять весела, как ей следует

² Итак, живем, Оно скоро придет, Оно придет, Мы его увидим(фр.).

быть, дама шьет очень усердно. Она хорошая швея.

В комнату вошла служанка, молоденькая девушка.

– Посмотрите, Маша, какво я шью? я уж почти кончила рукавички, которые готовлю себе к вашей свадьбе.

– Ах, да на них меньше узора, чем на тех, которые вы мне вышили!

– Еще бы! Еще бы невеста не была наряднее всех на свадьбе!

– А я принесла вам письмо, Вера Павловна.

По лицу Веры Павловны пробежало недоумение, когда она стала распечатывать письмо: на конверте был штемпель городской почты. «Как же это? ведь он в Москве?» Она торопливо развернула письмо и побледнела; рука ее с письмом опустилась. «Нет, это не так, я не успела прочесть, в письме вовсе нет этого!» И она опять подняла руку с письмом. Все было делом двух секунд. Но в этот второй раз ее глаза долго, неподвижно смотрели на немногие строки письма, и эти светлые глаза тускнели, тускнели, письмо выпало из ослабевших рук на швейный столик, она закрыла лицо руками, зарыдала. «Что я наделала! Что я наделала!» – и опять рыданье.

– Верочка, что с тобой? Разве ты охотница плакать? когда ж это с тобою бывает? Что ж это с тобой?

Молодой человек быстрыми, но легкими, осторожными шагами вошел в комнату.

– Прочти... оно на столе...

Она уже не рыдала, но сидела неподвижно, едва дыша.

Молодой человек взял письмо; и он побледнел, и у него задрожали руки, и он долго смотрел на письмо, хотя оно было не велико, всего-то слов десятка два:

«Я смущал ваше спокойствие. Я схожу со сцены. Не жалейте; я так люблю вас обоих, что очень счастлив своею решимостью. Прощайте».

Молодой человек долго стоял, потирая лоб, потом стал крутить усы, потом посмотрел на рукав своего пальто; наконец он собрался с мыслями. Он сделал шаг вперед к молодой женщине, которая сидела по-прежнему неподвижно, едва дыша, будто в летаргии. Он взял ее руку:

– Верочка!

Но лишь коснулась его рука ее руки, она вскочила с криком ужаса, как поднятая электрическим ударом, стремительно отшатнулась от молодого человека, судорожно оттолкнула его:

– Прочь! Не прикасайся ко мне! Ты в крови! На тебе его кровь! Я не могу видеть тебя! Я уйду от тебя! Я уйду! отойди от меня! – И она отталкивала, все отталкивала пустой воздух и вдруг пошатнулась, упала в кресло, закрыла лицо руками.

– И на мне его кровь! На мне! Ты не виноват – я одна... я одна! Что я наделала! Что я наделала!

Она задыхалась от рыдания.

– Верочка, – тихо и робко сказал он, – друг мой!..

Она тяжело перевела дух и спокойным и все еще дрожа-

щим голосом проговорила, едва могла проговорить:

– Милый мой, оставь теперь меня! Через час войди опять, – я буду уже спокойна. Дай мне воды и уйди!

Он повиновался молча. Вошел в свою комнату, сел опять за свой письменный стол, у которого сидел такой спокойный, такой довольный за четверть часа перед тем, взял опять перо... «В такие-то минуты и надобно уметь владеть собою; у меня есть воля, – и все пройдет... пройдет»... А перо, без его ведома, писало среди какой-то статьи: «перенесет ли? – ужасно, – счастье погибло»...

– Милый мой! я готова, поговорим! – послышалось из соседней комнаты. Голос молодой женщины был глух, но тверд.

– Милый мой, мы должны расстаться. Я решила. Это тяжело. Но еще тяжеле было бы нам видеть друг друга. Я его убийца. Я убила его для тебя.

– Верочка, чем же ты виновата?

– Не говори ничего, не оправдывай меня, или я возненавижу тебя. Я, я во всем виновата. Прости меня, мой милый, что я принимаю решение, очень мучительное для тебя, – и для меня, мой милый, тоже! Но я не могу поступить иначе, ты сам через несколько времени увидишь, что так следовало сделать. Это неизменно, мой друг. Слушай же. Я уезжаю из Петербурга. Легче будет вдали от мест, которые напоминали бы прошлое. Я продаю свои вещи; на эти деньги я могу прожить несколько времени, – где? в Твери, в Нижнем, я не

знаю, все равно. Я буду искать уроков пения; вероятно, найду, потому что поселюсь где-нибудь в большом городе. Если не найду, пойду в гувернантки. Я думаю, что не буду нуждаться; но если буду, обращусь к тебе; позаботься же, чтоб у тебя на всякий случай было готово несколько денег для меня; ведь ты знаешь, у меня много надобностей, расходов, хоть я и скупа; я не могу обойтись без этого. Слышишь? Я не отказываюсь от твоей помощи! пусть, мой друг, это доказывает тебе, что ты остаешься мил мне... А теперь, простимся навсегда! Отправляйся в город... сейчас, сейчас! мне будет легче, когда я останусь одна. Завтра меня уже не будет здесь – тогда возвращайся. Я еду в Москву, там осмотрюсь, узнаю, в каком из провинциальных городов вернее можно рассчитывать на уроки. Запрещаю тебе быть на станции, чтобы провожать меня. Прощай же, мой милый, дай руку на прощанье, в последний раз пожму ее.

Он хотел обнять ее, – она предупредила его движение.

– Нет, не нужно, нельзя! Это было бы оскорблением ему. Дай руку. Жму ее – видишь, как крепко! Но прости!

Он не выпускал ее руки из своей.

– Довольно, иди. – Она отняла руку, он не смел противиться. – Прости же!

Она взглянула на него так нежно, но твердыми шагами ушла в свою комнату и ни разу не оглянулась на него уходя.

Он долго не мог отыскать свою шляпу; хоть раз пять брал ее в руки, но не видел, что берет ее. Он был как пьяный; на-

конец понял, что это под рукою у него именно шляпа, которую он ищет, вышел в переднюю, надел пальто; вот он уже подходит к воротам: «кто это бежит за мною? верно, Маша... Верно, с нею дурно!» Он обернулся – Вера Павловна бросилась ему на шею, обняла, крепко поцеловала.

– Нет, не утерпела, мой милый! Теперь прости навсегда!

Она убежала, бросилась в постель и залилась слезами, которые так долго сдерживала.

III. Предисловие

«Содержание повести – любовь, главное лицо – женщина, – это хорошо, хотя бы сама повесть и была плоха», – говорит читательница.

– Это правда, – говорю я.

Читатель не ограничивается такими легкими заключениями, – ведь у мужчины мыслительная способность и от природы сильнее, да и развита гораздо больше, чем у женщины; он говорит, – читательница тоже, вероятно, думает это, но не считает нужным говорить, и потому я не имею основания спорить с нею, – читатель говорит: «я знаю, что этот застрелившийся господин не застрелился». Я хватаюсь за слово «знаю» и говорю: ты этого не знаешь, потому что этого тебе еще не сказано, а ты знаешь только то, что тебе скажут; сам ты ничего не знаешь, не знаешь даже того, что тем, как я начал повесть, я оскорбил, унизил тебя. Ведь ты не знал этого, – правда? – Ну, так знай же.

Да, первые страницы рассказа обнаруживают, что я очень плохо думаю о публике. Я употребил обыкновенную хитрость романистов: начал повесть эффектными сценами, вырванными из середины или конца ее, прикрыл их туманом. Ты, публика, добра, очень добра, а потому ты неразборчива и недогадлива. На тебя нельзя положиться, что ты с первых страниц можешь различить, будет ли содержание пове-

сти стоять того, чтобы прочесть ее, у тебя плохое чутье, оно нуждается в пособии, а пособий этих два: или имя автора, или эффектность манеры. Я рассказываю тебе еще первую свою повесть, ты еще не приобрела себе суждения, одарен ли автор художественным талантом (ведь у тебя так много писателей, которым ты присвоила художественный талант!), моя подпись еще не заманила бы тебя, и я должен был забросить тебе удочку с приманкою эффектности. Не осуждай меня за то, – ты сама виновата; твоя простодушная наивность принудила меня унизиться до этой пошлости. Но теперь ты уже попала в мои руки, и я могу продолжать рассказ, как, по-моему, следует, без всяких уловок. Дальше не будет таинственности, ты всегда будешь за двадцать страниц вперед видеть развязку каждого положения, а на первый случай я скажу тебе и развязку всей повести: дело кончится весело, с бокалами, песнью; не будет ни эффектности, никаких прикрас. Автору не до прикрас, добрая публика, потому что он все думает о том, какой сумбур у тебя в голове, сколько лишних, лишних страданий делает каждому человеку дикая путаница твоих понятий. Мне жалко и смешно смотреть на тебя: ты так немощна и так зла от чрезмерного количества чепухи в твоей голове.

Я сердит на тебя за то, что ты так зла к людям, а ведь люди – это ты: что же ты так зла к самой себе? Потому я и браню тебя. Но ты зла от умственной немощности, и потому, браня тебя, я обязан помогать тебе. С чего начать оказывание

помощи? Да хоть с того, о чем ты теперь думаешь: что́ это за писатель, так нагло говорящий со мною? – я скажу тебе, какой я писатель.

У меня нет ни тени художественного таланта. Я даже и языком-то владею плохо. Но это все-таки ничего: читай, добрейшая публика! прочтешь не без пользы. Истина – хорошая вещь: она вознаграждает недостатки писателя, который служит ей. Поэтому я скажу тебе: если б я не предупредил тебя, тебе, пожалуй, показалось бы, что повесть написана художественно, что у автора много поэтического таланта. Но я предупредил тебя, что таланта у меня нет, – ты и будешь знать теперь, что все достоинства повести даны ей только ее истинностью.

Впрочем, моя добрейшая публика, толкуя с тобою, надобно договаривать все до конца; ведь ты хоть и охотница, но не мастерица отгадывать недосказанное. Когда я говорю, что у меня нет ни тени художественного таланта и что моя повесть очень слаба по исполнению, ты не вздумай заключить, будто я объясняю тебе, что я хуже тех твоих повествователей, которых ты считаешь великими, а мой роман хуже их сочинений. Я говорю не то. Я говорю, что мой рассказ очень слаб по исполнению сравнительно с произведениями людей, действительно одаренных талантом; с прославленными же сочинениями твоих знаменитых писателей ты смело ставь наряду мой рассказ по достоинству исполнения, ставь даже выше их – не ошибешься! В нем все-таки больше художественности,

чем в них; можешь быть спокойна на этот счет.

Поблаговари же меня; ведь ты охотница кланяться тем, которые пренебрегают тобою, – поклонись же и мне.

Но есть в тебе, публика, некоторая доля людей, – теперь уже довольно значительная доля, – которых я уважаю. С тобою, с огромным большинством, я нагл, – но только с ним, и только с ним я говорил до сих пор. С людьми, о которых я теперь упомянул, я говорил бы скромно, даже робко. Но с ними мне не нужно было объясняться. Их мнениями я дорожу, но я вперед знаю, что оно за меня. Добрые и сильные, честные и умеющие, недавно вы начали возникать между нами, но вас уже немало, и быстро становится все больше. Если бы вы были публика, мне уже не нужно было бы писать; если бы вас еще не было, мне еще не было бы можно писать. Но вы еще не публика, а уже вы есть между публикою, – потому мне еще нужно и уже можно писать.

Глава первая

Жизнь Веры Павловны в родительском семействе

I

Воспитание Веры Павловны было очень обыкновенное. Жизнь ее до знакомства с медицинским студентом Лопуховым представляла кое-что замечательное, но не особенное. А в поступках ее уже и тогда было кое-что особенное.

Вера Павловна выросла в многоэтажном доме на Гороховой, между Садовой и Семеновским мостом. Теперь этот дом отмечен каким ему следует номером, а в 1852 году, когда еще не было таких номеров, на нем была надпись: «дом действительного статского советника Ивана Захаровича Сторешникова». Так говорила надпись; но Иван Захарыч Сторешников умер еще в 1837 году, и с той поры хозяин дома был сын его, Михаил Иванович, – так говорили документы. Но жильцы дома знали, что Михаил Иванович – хозяйкин сын, а хозяйка дому – Анна Петровна.

Дом и тогда был, как теперь, большой, с двумя воротами и четырьмя подъездами по улице, с тремя дворами в глубину. На самой парадной из лестниц на улицу, в бельэтаже, жила в

1852 году, как и теперь живет, хозяйка с сыном. Анна Петровна и теперь осталась, как тогда была, дама видная. Михаил Иванович теперь видный офицер и тогда был видный и красивый офицер.

Кто теперь живет на самой грязной из бесчисленных черных лестниц первого двора, в 4-м этаже, в квартире направо, я не знаю; а в 1852 году жил тут управляющий домом, Павел Константиныч Розальский, плотный, тоже видный мужчина, с женою Марьею Алексевною, худощавою, крепкою, высокого роста дамою, с дочерью, взрослою девицею, – она-то и есть Вера Павловна, – и с 9-летним сыном Федею.

Павел Константиныч, кроме того, что управлял домом, служил помощником столоначальника в каком-то департаменте. По должности он не имел доходов; по дому – имел, но умеренные: другой получал бы гораздо больше, а Павел Константиныч, как сам говорил, знал совесть; зато хозяйка была очень довольна им, и в четырнадцать лет управления он скопил тысяч до десяти капитала. Но из хозяйкина кармана было тут тысячи три, не больше; остальные выросли к ним от оборотов не в ущерб хозяйке: Павел Константиныч давал деньги под ручной залог.

У Марьи Алексевны тоже был капиталец – тысяч пять, как она говорила кумушкам, – на самом деле побольше. Основание капиталу было положено лет 15 тому назад продажею енотовой шубы, платьишка и мебелишки, доставшихся Марье Алексевне после брата-чиновника. Выручив рублей пол-

тораста, она тоже пустила их в оборот под залоги, действовала гораздо рискованнее мужа и несколько раз попадалась на удочку; какой-то плут взял у нее 5 рублей под залог паспорта, – паспорт вышел краденый, и Марье Алексевне пришлось приложить еще рублей 15, чтобы выпутаться из дела; другой мошенник заложил за 20 рублей золотые часы, – часы оказались снятыми с убитого, и Марье Алексевне пришлось заплатить порядком, чтобы выпутаться из дела. Но если она терпела потери, которых избегал муж, разборчивый в приеме залогов, зато и прибыль у нее шла быстрее. Подыскивались и особенные случаи получать деньги. Однажды, – Вера Павловна была еще тогда маленькая: при взрослой дочери Марья Алексевна не стала бы делать этого, а тогда почему было не сделать? Ребенок ведь не понимает! И точно, сама Верочка не поняла бы, да, спасибо, кухарка растолковала очень разумительно; да и кухарка не стала бы толковать, потому что дитяти этого знать не следует, но так уже случилось, что душа не стерпела после одной из сильных потасовок от Марьи Алексевны за гульбу с любовником (впрочем, глаз у Матрены был всегда подбитый, не от Марьи Алексевны, а от любовника, – а это и хорошо, потому что кухарка с подбитым глазом дешевле!). Так вот, однажды приехала к Марье Алексевне невиданная знакомая дама, нарядная, пышная, красивая, приехала и осталась погостить. Неделю гостила смирно, только все ездил к ней какой-то статский, тоже красивый, и дарил Верочке конфеты, и надарил ей хороших кукол, и по-

дарил две книжки, обе с картинками; в одной книжке были хорошие картинки – звери, города; а другую книжку Марья Алексевна отняла у Верочки, как уехал гость, так что только раз она и видела эти картинки, при нем: он сам показывал. Так с неделю гостила знакомая, и все было тихо в доме. Марья Алексевна всю неделю не подходила к шкапчику (где стоял графин с водкой), ключ от которого никому не давала, и не била Матрену, и не била Верочку, и не ругалась громко. Потом одну ночь Верочку беспрестанно будили страшные вскрикивания госты и ходьба и суетня в доме. Утром Марья Алексевна подошла к шкапчику и дольше обыкновенного стояла у него, и все говорила: «слава Богу, счастливо было, слава Богу!», даже подозвала к шкапчику Матрену и сказала: «на здоровье, Матренушка, ведь и ты много потрудилась», и после не то чтобы драться да ругаться, как бывало в другие времена после шкапчика, а легла спать, поцеловавши Верочку. Потом опять неделю было смирно в доме, и гостыя не кричала, а только не выходила из комнаты и потом уехала. А через два дня после того, как она уехала, приходил статский, только уже другой статский, и приводил с собою полицию, и много ругал Марию Алексевну; но Марья Алексевна сама ни в одном слове не уступала ему и все твердила: «я никаких ваших делов не знаю. Справьтесь по домовым книгам, кто у меня гостил! псковская купчиха Савастьянова, моя знакомая, вот вам и весь сказ!» Наконец, поругавшись, поругавшись, статский ушел и больше не показывался. Это

видела Верочка, когда ей было восемь лет, а когда ей было девять лет, Матрена ей растолковала, какой это был случай. Впрочем, такой случай только один и был; а другие бывали разные, но не так много.

Когда Верочке было десять лет, девочка, шедшая с матерью на Толкучий рынок, получила при повороте из Гороховой в Садовую неожиданный подзатыльник, с замечанием: «глазеешь на церковь, дура, а лба-то что не перекрестишь? Чать, видишь, все добрые люди крестятся!»

Когда Верочке было двенадцать лет, она стала ходить в пансион, а к ней стал ходить фортепьянный учитель, – пьяный, но очень добрый немец и очень хороший учитель, но, по своему пьянству, очень дешевый.

Когда ей был четырнадцатый год, она обшивала всю семью, впрочем ведь и семья-то была невелика.

Когда Верочке подошел шестнадцатый год, мать стала кричать на нее так: «отмывай рожу-то, что она у тебя, как у цыганки! Да не отмоешь, такая чучела уродилась, не знаю, в кого». Много доставалось Верочке за смуглый цвет лица, и она привыкла считать себя дурнушкой. Прежде мать водила ее чуть не в лохмотьях, а теперь стала наряжать. А Верочка, наряженная, идет с матерью в церковь да думает: «к другой шли бы эти наряды, а на меня что ни надень, все цыганка – чучело, как в ситцевом платье, так и в шелковом. А хорошо быть хорошенькою. Как бы мне хотелось быть хорошенькою!»

Когда Верочке исполнилось шестнадцать лет, она перестала учиться у фортепьянного учителя и в пансионе, а сама стала давать уроки в том же пансионе; потом мать нашла ей и другие уроки.

Через полгода мать перестала называть Верочку цыганкою и чучелою, а стала наряжать лучше прежнего, а Матрена, — это уж была третья Матрена, после той: у той был всегда подбит левый глаз, а у этой разбита левая скула, но не всегда, — сказала Верочке, что собирается сватать ее начальник Павла Константиныча, и какой-то важный начальник, с орденом на шее. Действительно, мелкие чиновники в департаменте говорили, что начальник отделения, у которого служит Павел Константиныч, стал благосклонен к нему, а начальник отделения между своими ровными стал выражать такое мнение, что ему нужно жену хоть бесприданницу, но красавицу, и еще такое мнение, что Павел Константиныч хороший чиновник.

Чем бы это кончилось, неизвестно; но начальник отделения собирался долго, благоразумно, а тут подвернулся другой случай.

Хозяйкин сын зашел к управляющему сказать, что матушка просит Павла Константиныча взять образцы разных обоев, потому что матушка хочет заново отделывать квартиру, в которой живет. А прежде подобные приказания отдавались через дворецкого. Конечно, дело понятное и не для таких бывалых людей, как Марья Алексевна с мужем. Хозяйкин

сын, зашедши, просидел больше полчаса и удостоил выкушать чаю (цветочного). Марья Алексевна на другой же день подарила дочери фермуар, оставшийся невыкупленным в закладе, и заказала дочери два новых платья, очень хороших – одна материя стоила: на одно платье 40 рублей, на другое 52 рублей, а с оборками, да лентами, да фасоном оба платья обошлись 174 рублей; по крайней мере, так сказала Марья Алексевна мужу, а Верочка знала, что всех денег вышло на них меньше 100 рублей, – ведь покупки тоже делались при ней, – но ведь и на 100 рублей можно сделать два очень хорошие платья. Верочка радовалась платьям, радовалась фермуару, но больше всего радовалась тому, что мать наконец согласилась покупать ботинки ей у Королёва: ведь на Толкучем рынке ботинки такие безобразные, а королевские так удивительно сидят на ноге.

Платья не пропали даром: хозяйкин сын повадился ходить к управляющему и, разумеется, больше говорил с дочерью, чем с управляющим и управляющей, которые, тоже разумеется, носили его на руках. Ну, и мать делала наставления дочери, все как следует, – этого нечего и описывать, дело известное.

Однажды, после обеда, мать сказала:

– Верочка, одевайся, да получше. Я тебе приготовила сюрприз – поедem в оперу, я во втором ярусе взяла билет, где все генеральши бывают. Все для тебя, дурочка. Последних денег не жалею. У отца-то от расходов на тебя уж все живо-

ты подвело. В один пансион мадаме сколько переплатили, а фортепьянщику-то сколько! Ты этого ничего не чувствуешь, неблагодарная, нет, видно, души-то в тебе, бесчувственная ты этакая!

Только и сказала Марья Алексевна, больше не бранила дочь, а это какая же брань? Марья Алексевна только вот уж так и говорила с Верочкою, а браниться на нее давно перестала, и бить ни разу не била с той поры, как прошел слух про начальника отделения.

Поехали в оперу. После первого акта вошел в ложу хозяйкин сын, и с ним двое приятелей, – один статский, сухощавый и очень изящный, другой военный, полный и попроще. Сели и уселись, и много шептались между собою, все больше хозяйкин сын со статским, а военный говорил мало. Марья Алексевна вслушивалась, разбирала почти каждое слово, да мало могла понять, потому что они говорили всё по-французски. Слов пяток из их разговора она знала: «belle», «charmante», «amour», «bonheur»³, – да что толку в этих словах? Belle, charmante, – Марья Алексевна и так уже давно слышит, что ее цыганка belle и charmante; amour – Марья Алексевна и сама видит, что он по уши врюхался в amour; а коли «amour», то уж, разумеется, и «bonheur», – что толку от этих слов? Но только что же, сватать-то скоро ли будет?

– Верочка, ты неблагодарная, как есть неблагодарная, – шепчет Марья Алексевна дочери, – что рыло-то воротишь от

³ Красивая, прелестная, любовь, счастье(*фр.*).

них? Обидели они тебя, что вошли? Честь тебе, дуре, делают. А свадьба-то по-французски – марьяж, что ли, Верочка? А как жених с невестой, а венчаться как по-французски?

Верочка сказала.

– Нет, таких слов что-то не слышно... Вера, да ты мне, видно, слова-то не так сказала? Смотри у меня!

– Нет, так; только этих слов вы от них не услышите. Поедемте, я не могу оставаться здесь дольше.

– Что? что ты сказала, мерзавка? – глаза у Марьи Алексевны налились кровью.

– Поедемте. Делайте потом со мною, что хотите, а я не останусь. Я вам скажу после, почему. – Маменька, – это уж было сказано вслух, – у меня очень разболелась голова. Я не могу сидеть здесь. Прошу вас!

Верочка встала.

Кавалеры засуетились.

– Это пройдет, Верочка, – строго, но чинно сказала Марья Алексевна, – походи по коридору с Михаилом Ивановичем, и пройдет голова.

– Нет, не пройдет, я чувствую себя очень дурно. Скорее, маменька.

Кавалеры отворили дверь, хотели вести Верочку под руки, – отказалась, мерзкая девчонка! Сами подали салопы, сами пошли сажать в карету. Марья Алексевна гордо посматривала на лакеев: «Глядите, хамы, каковы кавалеры, – а вот этот моим зятем будет! Сама таких хамов заведу. А ты у меня ло-

майся, ломайся, мерзавка, – я те поломаю!» – Но стой, стой, что-то говорит зятек ее скверной девчонке, сажая мерзкую гордячку в карету? «Santé» – это, кажется, здоровье, «savoir» – узнаю, «visite» – и по-нашему то же, «permettez» – прошу позволения. Не уменьшилась злоба Марьи Алексевны от этих слов; но надо принять их в соображение. Карета двинулась.

– Что он тебе сказал, когда сажал?

– Он сказал, что завтра поутру пойдет узнать о моем здоровье.

– Не врешь, что завтра?

Верочка молчала.

– Счастлив твой бог! – однако не утерпела Марья Алексевна, рванула дочь за волосы – только раз, и то слегка. – Ну, пальцем не трону, только завтра чтоб была весела! Ночь спи, дура! Не вздумай плакать. Смотри, если увижу завтра, что бледна или глаза заплаканы! Спускала до сих пор... не спущу. Не пожалею смазливой-то рожки, уж заодно пропадать будет, так хоть дам себя знать!

– Я уж давно перестала плакать, вы знаете.

– То-то же, да будь с ним поразговорчивее.

– Да, я завтра буду с ним говорить.

– То-то, пора за ум взяться. Побойся бога да пожалей мать, страмница!

Прошло минут десять.

– Верочка, ты на меня не сердись. Я из любви к тебе бра-

нюсь, тебе же добра хочу. Ты не знаешь, каковы дети милы матерям. Девять месяцев тебя в утробе носила! Верочка, отблагодари, будь послушна, сама увидишь, что к твоей пользе. Веди себя, как я учу, – завтра же предложение сделает!

– Маменька, вы ошибаетесь. Он вовсе не думает делать предложения. Маменька! что они говорили!

– Знаю; коли не о свадьбе, так известно о чем. Да не на таковских напал. Мы его в бараний рог согнем. В мешке в церковь привезу, за виски вокруг наложу обведу, да еще рад будет. Ну, да нечего с тобой много говорить, и так лишнее наговорила: девушкам не следует этого знать, это материно дело. А девушка должна слушаться, она еще ничего не понимает. Так будешь с ним говорить, как я тебе велю?

– Да, буду с ним говорить.

– А вы, Павел Константиныч, что сидите, как пень? Скажите и вы от себя, что и вы как отец ей приказываете слушаться матери, что мать не станет учить ее дурному.

– Марья Алексевна, ты умная женщина, только дело-то опасное: не слишком ли круто хочешь вести!

– Дурак! Вот брякнул, – при Верочке-то! Не рада, что и расшевелила! Правду пословица говорит: не тронь дерма, не воняет! Эко бухнул! Ты не рассуждай, а скажи: должна дочь слушаться матери?

– Конечно, должна; что говорить, Марья Алексевна!

– Ну, так и приказывай как отец.

– Верочка, слушайся во всем матери. Твоя мать умная

женщина, опытная женщина. Она не станет тебя учить дурному. Я тебе как отец приказываю.

Карета остановилась у ворот.

– Довольно, маменька. Я вам сказала, что буду говорить с ним. Я очень устала. Мне надобно отдохнуть.

– Ложись, спи. Не потревожу. Это нужно к завтраму. Хорошенько выспись.

Действительно, все время, как они всходили по лестнице, Марья Алексевна молчала, – а чего ей это стоило! И опять, чего ей стоило, когда Верочка пошла прямо в свою комнату, сказавши, что не хочет пить чаю, чего стоило Марье Алексевне ласковым голосом сказать:

– Верочка, подойди ко мне! – Дочь подошла. – Хочу тебя благословить на сон грядущий, Верочка. Нагни головку! – Дочь нагнулась. – Бог тебя благословит, Верочка, как я тебя благословляю.

Она три раза благословила дочь и подала ей поцеловать свою руку.

– Нет, маменька. Я уж давно сказала вам, что не буду целовать вашей руки. А теперь отпустите меня. Я в самом деле чувствую себя дурно.

Ах, как было опять вспыхнули глаза Марьи Алексевны. Но пересилила себя и кротко сказала:

– Ступай, отдохни.

Едва Верочка разделась и убрала платье, – впрочем, на это ушло много времени, потому что она все задумывалась:

сняла браслет и долго сидела с ним в руке, вынула серьгу – и опять забылась, и много времени прошло, пока она вспомнила, что ведь она страшно устала, что ведь она даже не могла стоять перед зеркалом, а опустилась в изнеможении на стул, как добрела до своей комнаты, что надобно же поскорее раздеться и лечь, – едва Верочка легла в постель, в комнату вошла Марья Алексевна с подносом, на котором была большая отцовская чашка и лежала целая груда сухарей.

– Кушай, Верочка! Вот, кушай на здоровье! Сама тебе принесла: видишь, мать помнит о тебе! Сижу, да и думаю: как же это Верочка легла спать без чаю? сама пью, а сама все думаю. Вот и принесла. Кушай, моя дочка милая!

Странен показался Верочке голос матери: он в самом деле был мягок и добр, – этого никогда не бывало. Она с недоумением посмотрела на мать. Щеки Марьи Алексевны пылали, и глаза несколько блуждали.

– Кушай, я посижу, посмотрю на тебя. Выкушаешь, принесу другую чашку.

Чай, наполовину налитый густыми, вкусными сливками, разбудил аппетит. Верочка приподнялась на локоть и стала пить. – «Как вкусен чай, когда он свежий, густой и когда в нем много сахара и сливок! Чрезвычайно вкусен! Вовсе не похож на тот спитой, с одним кусочком сахара, который даже противен. Когда у меня будут свои деньги, я буду пить такой чай, как этот».

– Благодарю вас, маменька.

– Не спи, принесу другую. – Она вернулась с другою чашкою такого же прекрасного чаю. – Кушай, а я опять посижу.

С минуту она молчала, потом вдруг заговорила как-то особенно, то самую быструю скороговоркою, то растягивая слова.

– Вот, Верочка, ты меня поблагодарила. Давно я не слышала от тебя благодарности. Ты думаешь, я злая. Да, я злая, только нельзя не быть злой! А слаба я стала, Верочка! От трех пуншей ослабела, а какие еще мои лета! Да и ты меня расстроила, Верочка, – очень огорчила! Я и ослабела. А тяжелая моя жизнь, Верочка. Я не хочу, чтобы ты так жила. Богато живи. Я сколько мученья приняла, Верочка, и-и-и, и-и-и, сколько! Ты не помнишь, как мы с твоим отцом жили, когда он еще не был управляющим! Бедно, и-и-и, как бедно жили, – а я тогда была честная, Верочка! Теперь я не честная, – нет, не возьму греха на душу, не солгу перед тобою, не скажу, что я теперь честная! Где уж, – то время давно прошло. Ты, Верочка, ученая, а я неученая, да я знаю все, что у вас в книгах написано; там и то написано, что не надо так делать, как со мною сделали. «Ты, говорят, нечестная!» Вот и отец твой, – тебе-то он отец, это Наденьке не он был отец, – голый дурак, а тоже колет мне глаза, надругается! Ну, меня и взяла злость: а когда, говорю, по-вашему, я не честная, так я и буду такая! Наденька родилась. Ну, так что ж, что родилась? Меня этому кто научил? Кто должность-то получил? Тут моего греха меньше было, чем его. А они у меня

ее отняли, в воспитательный дом отдали, – и узнать-то было нельзя, где она, – так и не видала ее и не знаю, жива ли она... чать, уж где быть в живых! Ну, в теперешнюю пору мне бы мало горя, а тогда не так легко было, – меня пуще злость взяла! Ну и стала злая. Тогда и пошло все хорошо. Твоему отцу, дураку, должность доставил кто? – я доставила. А в управляющие кто его произвел? – я произвела. Вот и стали жить хорошо. А почему? – потому, что я стала нечестная да злая. Это, я знаю, у вас в книгах написано, Верочка, что только нечестным да злым и хорошо жить на свете. А это правда, Верочка! Вот теперь и у отца твоего деньги есть, – я предоставила; и у меня есть, может, и побольше, чем у него, – все сама достала, на старость кусок хлеба приготовила. И отец твой, дурак, меня уважать стал, по струнке стал у меня ходить, я его вышколила! А то гнал меня, надругался надо мною. А за что? Тогда было не за что, – а за то, Верочка, что не была злая. А у вас в книгах, Верочка, написано, что не годится так жить, – а ты думаешь, я этого не знаю? Да в книгах-то у вас написано, что коли не так жить, так надо все по-новому завести, а по нынешнему заведению нельзя так жить, как они велят, – так что ж они по новому-то порядку не заводят? Эх, Верочка, ты думаешь, я не знаю, какие у вас в книгах новые порядки расписаны? – знаю: хорошие. Только мы с тобой до них не доживем, больно глуп народ – где с таким народом хорошие-то порядки завести! Так станем жить по старым. И ты по ним живи. А старый порядок какой? У вас в

книгах написано: старый порядок тот, чтобы обирать да обманывать. А это правда, Верочка. Значит, нового-то порядку нет, по старому и живи: обирай да обманывай; по любви тебе говор – хр-р...

Марья Алексевна захрапела и повалилась.

II

Марья Алексевна знала, что говорилось в театре, но еще не знала, что выходило из этого разговора.

В то время как она, расстроенная огорчением от дочери и в расстройстве налившая много рому в свой пунш, уже давно храпела, Михаил Иванович Сторешников ужинал в каком-то моднейшем ресторане с другими кавалерами, приходившими в ложу. В компании было еще четвертое лицо – француженка, приехавшая с офицером. Ужин приближался к концу.

– Мсье Сторешник! – Сторешников возликовал: француженка обращалась к нему в третий раз во время ужина, – мсье Сторешник! вы позвольте мне так называть вас, это приятнее звучит и легче выговаривается, – я не думала, что я буду одна дама в вашем обществе; я надеялась увидеть здесь Адель, – это было бы приятно, я ее так редко вижу.

– Адель поссорилась со мною, к несчастью.

Офицер хотел сказать что-то, но промолчал.

– Не верьте ему, m-lle Жюли, – сказал статский, – он боится открыть вам истину, думает, что вы рассердитесь, когда узнаете, что он бросил француженку для русской.

– Я не знаю, зачем и мы-то сюда поехали! – сказал офицер.

– Нет, Серж, отчего же, когда Жан просил! и мне было очень приятно познакомиться с мсье Сторешником. Но, мсье Сторешник, фи, какой у вас дурной вкус! Я бы ниче-

го не имела возразить, если бы вы покинули Адель для этой грузинки, в ложе которой были с ними обеими; но променять француженку на русскую... воображаю! бесцветные глаза, бесцветные жиденькие волосы, бессмысленное, бесцветное лицо... виновата, не бесцветное, а, как вы говорите, кровь со сливками, то есть кушанье, которое могут брать в рот только ваши эскимосы! Жан, подайте пепельницу грешнику против граций, пусть он посыплет пеплом свою преступную голову!

– Ты наговорила столько вздора, Жюли, что не ему, а тебе надобно посыпать пеплом голову, – сказал офицер, – ведь та, которую ты назвала грузинкою, – это она и есть русская-то.

– Ты смеешься надо мною?

– Чистейшая русская, – сказал офицер.

– Невозможно!

– Ты напрасно думаешь, милая Жюли, что в нашей нации один тип красоты, как в вашей. Да и у вас много блондинок. А мы, Жюли, смесь племен, от беловолосых, как финны («Да, да, финны», – заметила для себя француженка), до черных, гораздо чернее итальянцев, – это татары, монголы («Да, монголы, знаю», – заметила для себя француженка), – они все дали много своей крови в нашу! У нас блондинки, которых ты ненавидишь, только один из местных типов, – самый распространенный, но не господствующий.

– Это удивительно! но она великолепна! Почему она не поступит на сцену? Впрочем, господа, я говорю только о том, что я видела. Остается вопрос, очень важный: ее нога? Ваш

великий поэт Карасен, говорили мне, сказал, что в целой России нет пяти пар маленьких и стройных ног.

– Жюли, это сказал не Карасен, – и лучше зови его: Карамзин, – Карамзин был историк, да и то не русский, а татарский, – вот тебе новое доказательство разнообразия наших типов. О ножках сказал Пушкин, – его стихи были хороши для своего времени, но теперь потеряли большую часть своей цены. Кстати, эскимосы живут в Америке, а наши дикари, которые пьют оленью кровь, называются самоеды.

– Благодарю, Серж. Карамзин – историк; Пушкин – знаю; эскимосы в Америке; русские – самоеды; да, самоеды, – но это звучит очень мило, са-мо-е-ды! Теперь буду помнить. Я, господа, велю Сержу все это говорить мне, когда мы одни, или не в нашем обществе. Это очень полезно для разговора. Притом науки – моя страсть; я родилась быть m-me Сталь, господа. Но это посторонний эпизод. Возвращаемся к вопросу: ее нога?

– Если вы позволите мне завтра явиться к вам, m-lle Жюли, я буду иметь честь привезти к вам ее башмак.

– Привозите, я примерю. Это затрогивает мое любопытство.

Сторешников был в восторге: как же? – он едва цеплялся за хвост Жана, Жан едва цеплялся за хвост Сержа, Жюли – одна из первых француженок между француженками общества Сержа, – честь, великая честь!

– Нога удовлетворительна, – подтвердил Жан, – но я как

человек положительный интересуюсь более существенным. Я рассматривал ее бюст.

– Бюст очень хорош, – сказал Сторешников, ободрившийся выгодными отзывами о предмете его вкуса и уже замысливший, что может говорить комплименты Жюли, чего до сих пор не смел, – ее бюст очарователен, хотя, конечно, хвалить бюст другой женщины здесь – святотатство.

– Ха, ха, ха! Этот господин хочет сказать комплимент моему бюсту! Я не ипокритка и не обманщица, мсье Сторешник: я не хваюсь и не терплю, чтобы другие хвалили меня за то, что у меня плохо. Слава богу, у меня еще довольно осталось, чем я могу хвалиться по правде. Но мой бюст – ха, ха, ха! Жан, вы видели мой бюст – скажите ему! Вы молчите, Жан? Вашу руку, мсье Сторешник, – она схватила его за руку, – чувствуете, что это не тело? Попробуйте еще здесь, – и здесь, – теперь знаете? Я ношу накладной бюст, как ношу платье, юбку, рубашку, не потому, чтоб это мне нравилось, – по-моему, было бы лучше без этих ипокритств, – а потому, что это так принято в обществе. Но женщина, которая столько жила, как я, – и как жила, мсье Сторешник! я теперь святая, схимница перед тем, что была, – такая женщина не может сохранить бюста! – И вдруг она заплакала: – Мой бюст! Мой бюст! Моя чистота! О, Боже, затем ли я родилась?

– Вы лжете, господа, – закричала она, вскочила и ударила кулаком по столу, – вы клевете! Вы низкие люди! она не любовница его! он хочет купить ее! Я видела, как она отво-

рачивалась от него, горела негодованьем и ненавистью. Это гнусно!

– Да, – сказал статский, лениво потягиваясь, – ты прихвастнул, Сторешников; у вас дело еще не кончено, а ты уж наговорил, что живешь с нею, даже разошелся с Аделью для лучшего заверения нас. Да, ты описывал нам очень хорошо, но описывал то, чего еще не видал; впрочем, это ничего: не за неделю до нынешнего дня, так через неделю после нынешнего дня, – это все равно. И ты не разочаруешься в описаниях, которые делал по воображению; найдешь даже лучше, чем думаешь. Я рассматривал: останешься доволен.

Сторешников был вне себя от ярости:

– Нет, m-lle Жюли, вы обманулись, смею вас уверить, в вашем заключении; простите, что осмеливаюсь противоречить вам, но она – моя любовница. Это была обыкновенная любовная ссора от ревности; она видела, что я первый акт сидел в ложе m-lle Матильды, – только и всего!

– Врешь, мой милый, врешь, – сказал Жан и зевнул.

– А не вру, не вру.

– Докажи. Я человек положительный и без доказательств не верю.

– Какие же доказательства я могу тебе представить?

– Ну вот и пятишься, и уличаешь себя, что врешь. Какие доказательства? Будто трудно найти? Да вот тебе: завтра мы собираемся ужинать опять здесь.

М-lle Жюли будет так добра, что привезет Сержа, я приве-

зу свою миленькую БERTУ, ты привезешь ее. Если привезешь – я проиграл, ужин на мой счет; не привезешь – изгоняешься со стыдом из нашего круга! – Жан дернул сонетку; вошел слуга. – Simon, будьте так добры: завтра ужин на шесть персон, точно такой, как был, когда я венчался у вас с БERTОЮ, – помните, пред Рождеством? – и в той же комнате.

– Как не помнить такого ужина, мсье! Будет исполнено.

Слуга вышел.

– Гнусные люди! гадкие люди! я была два года уличною женщиною в Париже, я полгода жила в доме, где собирались воры, я и там не встречала троих таких низких людей вместе! Боже мой, с кем я принуждена жить в обществе! За что такой позор мне, о боже? – Она упала на колени. – Боже! я слабая женщина! Голод я умела переносить, но в Париже так холодно зимой. Холод был так силен, обольщения так хитры! Я хотела жить, я хотела любить, – боже! ведь это не грех, – за что же ты так наказываешь меня? Вырви меня из этого круга, вырви меня из этой грязи! Дай мне силу сделаться опять уличною женщиною в Париже, я не прошу у тебя ничего другого, я не достойна ничего другого, но освободи меня от этих людей, от этих гнусных людей! – Она вскочила и подбежала к офицеру. – Серж, и ты такой же? Нет, ты лучше их! («Лучше», – флегматически заметил офицер.) Разве это не гнусно?

– Гнусно, Жюли.

– И ты молчишь? Допускаешь? Соглашаешься? Участву-

ешь?

– Садись ко мне на колени, моя милая Жюли. – Он стал ласкать ее, она успокоилась. – Как я люблю тебя в такие минуты! Ты славная женщина. Ну, что ты не соглашаешься пожениться со мною? сколько раз я просил тебя об этом! Согласись.

– Брак? ярмо? предрассудок? Никогда! я запретила тебе говорить мне такие глупости. Не сердись на меня. Но... Серж, милый Серж! запрети ему! он тебя боится, – спаси ее!

– Жюли, будь хладнокровнее. Это невозможно. Не он, так другой, все равно. Да вот, посмотри, Жан уже думает отбить ее у него, а таких Жанов тысячи, ты знаешь. От всех не убережешь, когда мать хочет торговать дочерью. Лбом стену не прошибешь, говорим мы, русские. Мы умный народ, Жюли. Видишь, как спокойно я живу, приняв этот наш русский принцип.

– Никогда! Ты раб, француженка свободна. Француженка борется, – она падает, но она борется! Я не допущу! Кто она? Где она живет? Ты знаешь?

– Знаю.

– Едем к ней. Я предупрежу ее.

– В первом-то часу ночи? Поедем-ко лучше спать. До свиданья, Жан. До свиданья, Сторешников. Разумеется, вы не будете ждать Жюли и меня на ваш завтрашний ужин: вы видите, как она раздражена. Да и мне, сказать по правде, эта история не нравится. Конечно, вам нет дела до моего мне-

ния. До свиданья.

– Экая бешеная француженка, – сказал статский, потягиваясь и зевая, когда офицер и Жюли ушли. – Очень пикантная женщина, но это уж чересчур. Очень приятно видеть, когда хорошенькая женщина будирует, но с нею я не ужился бы четыре часа, не то что четыре года. Конечно, Сторешников, наш ужин не расстраивается от ее каприза. Я привезу Поля с Матильдою вместо них. А теперь пора по домам. Мне еще нужно заехать к Берте и потом к маленькой Лотхен, которая очень мила.

III

– Ну, Вера, хорошо. Глаза не заплаканы. Видно, поняла, что мать говорит правду, а то все на дыбы подымалась, – Верочка сделала нетерпеливое движение, – ну хорошо, не стану говорить, не расстраивайся. А я вчера так и заснула у тебя в комнате, может, наговорила чего лишнего. Я вчера не в своем виде была. Ты не верь тому, что я с пьяных-то глаз наговорила, – слышишь? не верь.

Верочка опять видела прежнюю Марию Алексевну. Вчера ей казалось, что из-под зверской оболочки проглядывают человеческие черты, теперь опять зверь, и только. Верочка усиливалась победить в себе отвращение, но не могла. Прежде она только ненавидела мать, вчера думалось ей, что она перестает ее ненавидеть, будет только жалеть, – теперь опять она чувствовала ненависть, но и жалость осталась в ней.

– Одевайся, Верочка! чать, скоро придет. – Она очень заботливо осмотрела наряд дочери. – Если ловко поведешь себя, подарю серьги с большими-то изумрудами, – они старого фасона, но если переделать, выйдет хорошая брошка. В залоге остались за 150 рублей, с процентами 250, а стоят больше 400. Слышишь, подарю.

Явился Сторешников. Он вчера долго не знал, как ему справиться с задачей, которую накликнул на себя; он шел пешком из ресторана домой и все думал. Но пришел домой

уже спокойный – придумал, пока шел, – и теперь был доволен собой.

Он справился о здоровье Веры Павловны – «я здорова»; он сказал, что очень рад, и навел речь на то, что здоровьем надобно пользоваться, – «конечно, надобно», а по мнению Марьи Алексевны, «и молодостью также»; он совершенно с этим согласен, и думает, что хорошо было бы воспользоваться нынешним вечером для поездки за город: день морозный, дорога чудесная. – С кем же он думает ехать? «Только втроем: вы, Марья Алексевна, Вера Павловна и я». В таком случае Марья Алексевна совершенно согласна; но теперь она пойдет готовить кофе и закуску, а Верочка споет что-нибудь. «Верочка, ты споешь что-нибудь?» – прибавляет она тоном, не допускающим возражений. – «Спою».

Верочка села к фортепьяно и запела «Тройку» – тогда эта песня была только что положена на музыку, – по мнению, питаемому Марьей Алексевною за дверью, эта песня очень хороша: девушка засмотрелась на офицера, – Верка-то, когда захочет, ведь умная, шельма! – Скоро Верочка остановилась: и это всё так; Марья Алексевна так и велела: немножко пропой, а потом заговори. – Вот Верочка и говорит, только, к досаде Марьи Алексевны, по-французски, – «экая дура я какая, забыла сказать, чтобы по-русски»; – но Вера говорит тихо... улыбнулась, – ну, значит, ничего, хорошо. Только что ж он-то выпучил глаза? впрочем, дурак, так дурак и есть, он только и умеет хлопать глазами. А нам таких-то и надо. Вот,

подала ему руку – умна стала Верка, хвалю.

– Мсье Сторешников, я должна говорить с вами серьезно. Вчера вы взяли ложу, чтобы выставить меня вашим приятелям как вашу любовницу. Я не буду говорить вам, что это бесчестно: если бы вы были способны понять это, вы не сделали бы так. Но я предупреждаю вас: если вы осмелитесь подойти ко мне в театре, на улице, где-нибудь, – я даю вам пощечину. Мать замучит меня (вот тут-то Верочка улыбнулась), но пусть будет со мною, что будет, все равно! Нынче вечером вы получите от моей матери записку, что катанье наше расстроилось, потому что я больна.

Он стоял и хлопал глазами, как уже и заметила Марья Алексевна.

– Я говорю с вами, как с человеком, в котором нет ни искры чести. Но, может быть, вы еще не до конца испорчены. Если так, я прошу вас: перестаньте бывать у нас. Тогда я прощу вам вашу клевету. Если вы согласны, дайте вашу руку, – она протянула ему руку: он взял ее, сам не понимая, что делает.

– Благодарю вас. Уйдите же. Скажите, что вам надобно торопиться приготовить лошадей для поездки.

Он опять похлопал глазами. Она уже обернулась к нотам и продолжала «Тройку». Жаль, что не было знатоков; любопытно было послушать: верно, не часто им случалось слушать пение с таким чувством; даже уж слишком много было чувства, не артистично.

Через минуту Марья Алексевна вошла, и кухарка втащи-
ла поднос с кофе и закуской. Михаил Иванович, вместо того
чтобы сесть за кофе, пятился к дверям.

– Куда же вы, Михаил Иванович?

– Я тороплюсь, Марья Алексевна, распорядиться ло-
шадьми.

– Да еще успеете, Михаил Иванович. – Но Михаил Иванович
был уже за дверями.

Марья Алексевна бросилась из передней в зал с подняты-
ми кулаками.

– Что ты сделала, Верка проклятая? А? – но проклятой
Верки уже не было в зале; мать бросилась к ней в комнату,
но дверь Верочкиной комнаты была заперта; мать надвину-
ла всем корпусом на дверь, чтобы выломать ее, но дверь не
подавалась, а проклятая Верка сказала:

– Если вы будете выламывать дверь, я разобью окно и ста-
ну звать на помощь. А вам не дамся в руки живая.

Марья Алексевна долго бесновалась, но двери не ломала;
наконец устала кричать. Тогда Верочка сказала:

– Маменька, прежде я только не любила вас; а со вчераш-
него вечера мне стало вас и жалко. У вас было много горя, и
оттого вы стали такая. Я прежде не говорила с вами, а теперь
хочу говорить, только когда вы не будете сердиться. погово-
рим тогда хорошенько, как прежде не говорили.

Конечно, не очень-то приняла к сердцу эти слова Марья
Алексевна; но утомленные нервы просят отдыха, и у Марьи

Алексевны стало рождаться раздумье: не лучше ли вступить в переговоры с дочерью, когда она, мерзавка, уж совсем отбивается от рук? Ведь без нее ничего нельзя сделать, ведь не женишь же без ней на ней Мишку-дурака! Да ведь еще и неизвестно, что она ему сказала, – ведь они руки пожали друг другу, – что ж это значит?

Так и сидела усталая Марья Алексевна, раздумывая между свирепством и хитростью, когда раздался звонок. Это были Жюли с Сержем.

IV

– Серж, говорит по-французски ее мать? – было первое слово Жюли, когда она проснулась.

– Не знаю; а ты еще не выкинула из головы этой мысли?

Нет, не выкинула. И когда, сообразивши все приметы в театре, решили, что, должно быть, мать этой девушки не говорит по-французски, Жюли взяла с собою Сержа переводчиком. Впрочем, уж такая была его судьба, что пришлось бы ему ехать, хотя бы матерью Верочки был кардинал Меццофанти; и он не роптал на судьбу, а ездил повсюду при Жюли, вроде наперсницы корнелевской героини. Жюли проснулась поздно, по дороге заезжала к Вихман, потом, уже не по дороге, а по надобности, еще в четыре магазина. Таким образом, Михаил Иванович успел объясниться, Марья Алексевна успела набеситься и насидеться, пока Жюли и Серж доехали с Литейной на Гороховую.

– А под каким же предлогом мы приехали? Фи, какая гадкая лестница! Таких я и в Париже не знала.

– Все равно, что вздумается. Мать дает деньги в залог, сними брошку. Или вот, еще лучше: она дает уроки на фортепьяно. Скажем, что у тебя есть племянница.

Матрена в первый раз в жизни устыдилась своей разбитой скулы, узрев мундир Сержа и, в особенности, великолепие Жюли: такой важной дамы она еще никогда не видывала ли-

цом к лицу. В такое же благоговение и неописанное изумление пришла Марья Алексевна, когда Матрена объявила, что изволили пожаловать полковник NN с супругою. Особенно это: «с супругою!» – Тот круг, сплетни о котором спустились до Марьи Алексевны, возвышался лишь до действительно статского слоя общества, а сплетни об настоящих аристократах уже замирали в пространстве на половине пути до Марьи Алексевны; потому она так и поняла в полном законном смысле имена «муж и жена», которые давали друг другу Серж и Жюли по парижскому обычаю. Марья Алексевна оправилась наскоро и выбежала.

Серж сказал, что очень рад вчерашнему случаю и проч., что у его жены есть племянница и проч., что его жена не говорит по-русски и потому он переводчик.

– Да, могу благодарить моего создателя, – сказала Марья Алексевна, – у Верочки большой талант учить на фортепьянах, и я за счастье почту, что она вхожа будет в такой дом; только учительница-то моя не совсем здорова, – Марья Алексевна говорила особенно громко, чтобы Верочка услышала и поняла появление перемирия, а сама, при всем благоговении, так и впивалась глазами в гостей, – не знаю, в силах ли будет выйти и показать вам пробу свою на фортепьянах. – Верочка, друг мой, можешь ты выйти или нет?

Какие-то посторонние люди, – сцены не будет, – почему ж не выйти? Верочка отперла дверь, взглянула на Сержа и вспыхнула от стыда и гнева.

Этого не могли бы не заметить и плохие глаза, а у Жюли были глаза чуть ли не позорче, чем у самой Марьи Алексевны. Француженка начала прямо:

– Милое дитя мое, вы удивляетесь и смущаетесь, видя человека, при котором были вчера так оскорбляемы, который, вероятно, и сам участвовал в оскорблениях. Мой муж легкомыслен, но он все-таки лучше других повес. Вы его извините для меня, я приехала к вам с добрыми намерениями. Уроки моей племяннице – только предлог; но надобно поддержать его. Вы сыграете что-нибудь, – покороче, – мы пойдем в вашу комнату и переговорим. Слушайте меня, дитя мое.

Та ли это Жюли, которую знает вся аристократическая молодежь Петербурга? Та ли это Жюли, которая отпускает шутки, заставляющие краснеть иных повес? Нет, это княгиня, до ушей которой никогда не доносилось ни одно грубоватое слово.

Верочка села делать свою пробу на фортепьяно. Жюли стала подле нее, Серж занимался разговором с Марьей Алексевною, чтобы выведать, каковы именно ее дела с Сторешниковым. Через несколько минут Жюли остановила Верочку, взяла ее за талью, прошла с нею по залу, потом увела ее в ее комнату. Серж пояснил, что его жена довольна игрою Верочки, но хочет потолковать с нею, потому что нужно знать и характер учительницы и т. д., и продолжал наводить разговор на Сторешникова. Все это было прекрасно, но Марья Алексевна смотрела все зорче и подозрительнее.

– Милое дитя мое, – сказала Жюли, вошедши в комнату Верочки, – ваша мать очень дурная женщина. Но чтобы мне знать, как говорить с вами, прошу вас, расскажите, как и зачем вы были вчера в театре? Я уже знаю все это от мужа, но из вашего рассказа я узнаю ваш характер. Не опасайтесь меня. – Выслушавши Верочку, она сказала: – Да, с вами можно говорить, вы имеете характер, – и в самых осторожных, деликатных выражениях рассказала ей о вчерашнем пари; на это Верочка отвечала рассказом о предложении кататься.

– Что ж, он хотел обмануть вашу мать, или они оба были в заговоре против вас? – Верочка горячо стала говорить, что ее мать уж не такая же дурная женщина, чтобы быть в заговоре. – Я сейчас это увижу, – сказала Жюли. – Вы оставайтесь здесь, – вы там лишняя. – Жюли вернулась в залу.

– Серж, он уже звал эту женщину и ее дочь кататься нынче вечером. Расскажи ей о вчерашнем ужине.

– Ваша дочь нравится моей жене, теперь надобно только условиться в цене – и, вероятно, мы не разойдемся из-за этого. Но позвольте мне докончить наш разговор о нашем общем знакомом. Вы его очень хвалите. А известно ли вам, что он говорит о своих отношениях к вашему семейству, – например, с какою целью он приглашал нас вчера в вашу ложу?

В глазах Марьи Алексевны, вместо выпытывающего взгляда, блеснул смысл: «так и есть».

– Я не сплетница, – отвечала она с неудовольствием, – сама не разношу вестей и мало их слушаю! – Это было сказа-

но не без колкости, при всем ее благоговении к посетителю.
– Мало ли что болтают молодые люди между собою; этим нечего заниматься.

– Хорошо-с; ну, а вот это вы назовете сплетнями? – Он стал рассказывать историю ужина. Марья Алексевна не дала ему закончить: как только произнес он первое слово о пари, она вскочила и с бешенством закричала, совершенно забывши важность гостей:

– Так вот они, штуки-то какие! Ах он, разбойник! Ах он, мерзавец! Так вот зачем он кататься-то звал! он хотел меня за городом-то на тот свет отправить, чтобы беззащитную девушку обесчестить! Ах он, сквернавец! – и так далее. Потом она стала благодарить гостя за спасение жизни ее и чести ее дочери. – То-то, батюшка, я уж и сначала догадывалась, что вы что-нибудь неспросту приехали, что уроки-то уроками, а цель у вас другая, да я не то полагала; я думала, у вас ему другая невеста приготовлена, вы его у нас отбить хотите, – погрешила на вас, окаянная, простите великодушно. Вот, можно сказать, по гроб жизни облагодетельствовали, – и т. д. Ругательства, благодарности, извинения долго лились беспорядочным потоком.

Жюли недолго слушала эту бесконечную речь, смысл которой был ясен для нее из тона голоса и жестов; с первых слов Марьи Алексевны француженка встала и вернулась в комнату Верочки.

– Да, ваша мать не была его сообщницею и теперь очень

раздражена против него. Но я хорошо знаю таких людей, как ваша мать. У них никакие чувства не удержатся долго против денежных расчетов; она скоро опять примется ловить жениха, и чем это может кончиться, бог знает; во всяком случае, вам будет очень тяжело. На первое время она оставит вас в покое; но я вам говорю, что это будет ненадолго. Что вам теперь делать? Есть у вас родные в Петербурге?

– Нет.

– Это жаль. У вас есть любовник? – Верочка не знала, как и отвечать на это, она только странно раскрыла глаза. – Простите, простите, это видно, но тем хуже. Значит, у вас нет приюта. Как же быть? Ну, слушайте. Я не то, чем вам показалась. Я не жена ему, я у него на содержаньи. Я известна всему Петербургу как самая дурная женщина. Но я честная женщина. Прийти ко мне – для вас значит потерять репутацию; довольно опасно для вас и то, что я уже один раз была в этой квартире, а приехать к вам во второй раз было бы наверное губить вас. Между тем надобно еще увидеться с вами, быть может, и не раз, – то есть, если вы доверяете мне. Да? – Так когда вы завтра можете располагать собою?

– Часов в двенадцать, – сказала Верочка. Это для Жюли немного рано, но все равно, она велит разбудить себя и встретится с Верочкою в той линии Гостиного двора, которая противоположна Невскому; она короче всех, там легко найти друг друга, и там никто не знает Жюли.

– Да, вот еще счастливая мысль: дайте мне бумаги, я на-

пишу этому негодяю письмо, чтобы взять его в руки. – Жюли написала: «Мсьё Сторешников, вы теперь, вероятно, в большом затруднении; если хотите избавиться от него, будьте у меня в 7 часов. Ж. Ле-Теллье». – Теперь прощайте!

Жюли протянула руку, но Верочка бросилась к ней на шею, и целовала, и плакала, и опять целовала. А Жюли и подавно не выдержала, – ведь она не была так воздержна на слезы, как Верочка, да и очень ей трогательно была радость и гордость, что она делает благородное дело; она пришла в экстаз, говорила, говорила все со слезами и поцелуями, и заключила восклицанием:

– Друг мой, милое мое дитя! о, не дай тебе бог никогда узнать, что чувствую я теперь, когда после многих лет в первый раз прикасаются к моим губам чистые губы. Умри, но не давай поцелуя без любви!

V

План Сторешникова был не так человекоубийствен, как предположила Марья Алексевна: она, по своей манере, дала делу слишком грубую форму, но сущность дела отгадала. Сторешников думал попозже вечером завезти своих дам в ресторан, где собирался ужин; разумеется, они все замерзли и проголодались, надобно погреться и выпить чаю; он всыплет опиуму в чашку или рюмку Марье Алексевне; Верочка растеряется, увидев мать без чувств; он заведет Верочку в комнату, где ужин, – вот уже пари и выиграно; что дальше – как случится. Может быть, Верочка в своем смятении ничего не поймет и согласится посидеть в незнакомой компании, а если и сейчас уйдет, – ничего, это извинят, потому что она только вступила на поприще авантюристки, и, натурально, совестится на первых порах. Потом он уладится деньгами с Марьей Алексевною, – ведь ей уж нечего будет делать.

Но теперь как ему быть? он проклинал свою хвастливость перед приятелями, свою ненаходчивость при внезапном крутом сопротивлении Верочки, желал себе провалиться сквозь землю. И в таком-то расстройстве и сокрушении духа – письмо от Жюли, целительный бальзам на рану, луч спасения в непроглядном мраке, столбовая дорога под ногою тонувшего в бездонном болоте. О, она поможет, она умнейшая женщина, она может все придумать! благороднейшая жен-

щина! – Минут за десять до 7-ми часов он был уже перед ее дверью. – «Изволят ждать и приказали принять».

Как величественно сидит она, как строго смотрит! Едва наклонила голову в ответ на его поклон. «Очень рада вас видеть, прошу садиться». – Ни один мускул не пошевелился в ее лице. Будет сильная головомойка, – ничего, ругай, только спаси.

– Мсье Сторешник, – начала она холодным, медленным тоном, – вам известно мое мнение о деле, по которому мы видимся теперь и которое, стало быть, мне не нужно вновь характеризовать. Я видела ту молодую особу, о которой был вчера разговор, слышала о вашем нынешнем визите к ним, следовательно, знаю все, и очень рада, что это избавляет меня от тяжелой необходимости расспрашивать вас о чем-либо. Ваше положение с одинаковою определенностью ясно и мне, и вам («господи, лучше бы ругалась!» – думает подсудимый). Мне кажется, что вы не можете выйти из него без посторонней помощи и не можете ждать успешной помощи ни от кого, кроме меня. Если вы имеете возразить что-нибудь, я жду. – Итак (после паузы), вы, подобно мне, полагаете, что никто другой не в состоянии помочь вам, – выслушайте же, что я могу и хочу сделать для вас; если предлагаемое мною пособие покажется вам достаточно, я выскажу условия, на которых согласна оказать его.

И тем же длинным, длинным манером официального изложения она сказала, что может послать Жану письмо, в ко-

тором скажет, что после вчерашней вспышки передумала, хочет участвовать в ужине, но что нынешний вечер у нее уже занят, что поэтому она просит Жана уговорить Сторешникова отложить ужин – о времени его она после условится с Жаном. Она прочла это письмо, – в письме слышалась уверенность, что Сторешников выиграет пари, что ему досадно будет отсрочивать свое торжество. Достаточно ли будет этого письма? – конечно. В таком случае, – продолжает Жюли все тем же длинным, длинным тоном официальных записок, – она отправит письмо на двух условиях: «вы можете принять или не принять их; вы принимаете их – я отправляю письмо; вы отвергаете их – я жгу письмо», и т. д., все в этой же бесконечной манере, вытягивающей душу из спасаемого. Наконец и условия. Их два: «первое: вы прекращаете всякие преследования молодой особы, о которой мы говорим; второе: вы перестаете упоминать ее имя в ваших разговорах». – «Только-то! – думает спасаемый, – я думал, уж она черт знает чего потребует, и уж черт знает на что ни был бы готов». Он согласен, и на его лице восторг от легкости условий, но Жюли не смягчается ничем, и все тянет, и все объясняет... «первое – нужно для нее, второе – также для нее, но еще более для вас: я отложу ужин на неделю, потом еще на неделю, и дело забудется, но вы поймете, что другие забудут его только в том случае, когда вы не будете напоминать о нем каким бы то ни было словом о молодой особе, о которой» и т. д. И все объясняется, все доказывается, даже то, что письмо будет

получено Жаном еще вовремя. – «Я справлялась, он обедает у Берты» и т. д., – «он поедет к вам, когда докурит свою сигару» и т. д., и все в таком роде и, например, в таком: «Итак, письмо отправляется, я очень рада. Потрудитесь перечесть его, – я не имею и не требую доверия. Вы прочли, – потрудитесь сам запечатать его, – вот конверт. – Я звоню. – Полина, вы потрудитесь передать это письмо» и т. д. – «Полина, я не виделась нынче с мсье Сторешником, он не был здесь, – вы понимаете?» – Около часа тянулось это мучительное спасание. Наконец письмо отправлено, и спасенный дышит свободнее, но пот льет с него градом, и Жюли продолжает:

– Через четверть часа вы должны будете спешить домой, чтобы Жан застал вас. Но четвертью часа вы еще можете располагать, и я воспользуюсь ею, чтобы сказать вам несколько слов; вы последуете или не последуете совету, в них заключающемуся, но вы зрело обдумаете его. Я не буду говорить об обязанностях честного человека относительно девушки, имя которой он компрометировал: я слишком хорошо знаю нашу светскую молодежь, чтобы ждать пользы от рассмотрения этой стороны вопроса. Но я нахожу, что женитьба на молодой особе, о которой мы говорим, была бы выгодна для вас. Как женщина прямая, я изложу вам основания такого моего мнения с полною ясностью, хотя некоторые из них и щекотливы для вашего слуха, – впрочем, малейшего вашего слова будет достаточно, чтобы я остановилась. Вы человек слабого характера и рискуете попасться в руки дурной жен-

щины, которая будет мучить вас и играть вами. Она добра и благородна, потому не стала бы обижать вас. Женитьба на ней, несмотря на низкость ее происхождения и, сравнительно с вами, бедность, очень много двинула бы вперед вашу карьеру: она, будучи введена в большой свет, при ваших денежных средствах, при своей красоте, уме и силе характера, заняла бы в нем блестящее место; выгоды от этого для всякого мужа понятны. Но кроме тех выгод, которые получил бы всякий другой муж от такой жены, вы, по особенностям вашей натуры, более чем кто-либо нуждаетесь в содействии, – скажу прямее: в руководстве. Каждое мое слово было взвешено; каждое – основано на наблюдении над нею. Я не требую доверия, но рекомендую вам обдумать мой совет. Я сильно сомневаюсь, чтобы она приняла вашу руку; но если бы она приняла ее, это было бы очень выгодно для вас. Я не удерживаю вас более, вам надобно спешить домой.

VI

Марья Алексевна, конечно, уже не претендовала на отказ Верочки от катанья, когда увидела, что Мишка-дурак вовсе не такой дурак, а чуть было даже не поддел ее. Верочка была оставлена в покое и на другое утро без всякой помехи отправилась в Гостиный двор.

– Здесь морозно, я не люблю холода, – сказала Жюли, – надобно куда-нибудь отправиться. Куда бы? погодите, я сейчас вернусь из этого магазина. – Она купила густой вуаль для Верочки. – Наденьте, тогда можете ехать ко мне безопасно. Только не подымайте вуаля, пока мы не останемся одни. Полина очень скромна, но я не хочу, чтоб и она вас видела. Я слишком берегу вас, дитя мое! – Действительно, она сама была в салопе и шляпе своей горничной и под густым вуалем. Когда Жюли отогрелась, выслушала все, что имела нового Верочка, она рассказала про свое свиданье с Сторешниковым.

– Теперь, милое дитя мое, нет никакого сомнения, что он сделает вам предложение. Эти люди влюбляются по уши, когда их волокитство отвергается. Знаете ли вы, дитя мое, что вы поступили с ним, как опытная кокетка? Кокетство, – я говорю про настоящее кокетство, а не про глупые, бездарные подделки под него: они отвратительны, как всякая плохая подделка под хорошую вещь, – кокетство – это ум и такт

в применении к делам женщины с мужчиною. Потому совершенно наивные девушки без намерения действуют, как опытные кокетки, если имеют ум и такт. Может быть, и мои доводы отчасти подействуют на него, но главное – ваша твердость. Как бы то ни было, он сделает вам предложение, я советую вам принять его.

– Вы, которая вчера сказали мне: лучше умереть, чем дать поцелуй без любви?

– Милое дитя мое, это было сказано в увлечении; в минуты увлечения оно верно и хорошо! Но жизнь – проза и расчет.

– Нет, никогда, никогда! Он гадок, это отвратительно! Я не унижусь, пусть меня съедят, я брошусь из окна, я пойду собирать милостыню... но отдать руку гадкому, низкому человеку – нет, лучше умереть.

Жюли стала объяснять выгоды: вы избавитесь от преследований матери, вам грозит опасность быть проданной, он не зол, а только недалек; недалекый и незлой муж лучше всякого другого для умной женщины с характером, вы будете госпожою в доме. Она в ярких красках описывала положение актрис, танцовщиц, которые не подчиняются мужчинам в любви, а господствуют над ними: «это самое лучшее положение в свете для женщины, кроме того положения, когда к такой же независимости и власти еще присоединяется со стороны общества формальное признание законности такого положения, то есть когда муж относится к жене как по-

клонник актрисы к актрисе». Она говорила много, Верочка говорила много, обе разгорячились, Верочка наконец дошла до пафоса.

– Вы называете меня фантазеркою, спрашиваете, чего же я хочу от жизни? Я не хочу ни властвовать, ни подчиняться, я не хочу ни обманывать, ни притворяться, я не хочу смотреть на мнение других, добиваться того, что рекомендуют мне другие, когда мне самой этого не нужно. Я не привыкла к богатству, – мне самой оно не нужно, – зачем же я стану искать его только потому, что другие думают, что оно всякому приятно и, стало быть, должно быть приятно мне? Я не была в обществе, не испытывала, что значит блистать, и у меня еще нет влечения к этому, – зачем же я стану жертвовать чем-нибудь для блестящего положения только потому, что, по мнению других, оно приятно? Для того, что не нужно мне самой, я не пожертвую ничем – не только собой, даже малейшим капризом не пожертвую. Я хочу быть независима и жить по-своему; что нужно мне самой, на то я готова; чего мне не нужно, того не хочу и не хочу. Что нужно мне будет, я не знаю; вы говорите: я молода, неопытна, со временем переменюсь, – ну что ж, когда переменюсь, тогда и переменюсь, а теперь не хочу, не хочу, не хочу ничего, чего не хочу! А чего я хочу теперь, вы спрашиваете? – ну да, я этого не знаю. Хочу ли я любить мужчину? – Я не знаю, – ведь я вчера поутру, когда вставала, не знала, что мне захочется полюбить вас; за несколько часов до того, как полюбила вас, не знала,

что люблю, и не знала, как это я буду чувствовать, когда люблю вас. Так теперь я не знаю, что я буду чувствовать, если я люблю мужчину, я знаю только то, что не хочу никому поддаваться, хочу быть свободна, не хочу никому быть обязана ничем, чтобы никто не смел сказать мне: ты обязана делать для меня что-нибудь! Я хочу делать только то, чего буду хотеть, и пусть другие делают так же; я не хочу ни от кого требовать ничего, я хочу не стеснять ничьей свободы и сама хочу быть свободна.

Жюли слушала и задумывалась, задумывалась и краснела и – ведь она не могла не вспыхивать, когда подле был огонь, – вскочила и прерывающимся голосом заговорила:

– Так, дитя мое, так! Я и сама бы так чувствовала, если б не была развращена. Не тем я развращена, за что называют женщину погибшей, не тем, что было со мною, что я терпела, от чего страдала, не тем я развращена, что тело мое было предано поруганью, а тем, что я привыкла к праздности, к роскоши, не в силах жить сама собою, нуждаюсь в других, угождаю, делаю то, чего не хочу, – вот это разврат! Не слушай того, что я тебе говорила, дитя мое: я развращала тебя – вот мученье! Я не могу прикасаться к чистому, не оскверняя; беги меня, дитя мое, я гадкая женщина, – не думай о свете! Там все гадкие, хуже меня; где праздность, там гнусность, где роскошь, там гнусность! – Беги, беги!

VII

Сторешников чаще и чаще начал думать: а что, как я в самом деле возьму да и женюсь на ней? С ним произошел случай, очень обыкновенный в жизни не только людей несамостоятельных в его роде, а даже и людей с независимым характером. Даже в истории народов: этими случаями наполнены томы Юма и Гиббона, Ранке и Тьерри; люди толкаются, толкаются в одну сторону только потому, что не слышат слова: «а попробуйте-ко, братцы, толкнуться в другую», – услышат и начнут поворачиваться направо кругом, и пошли толкаться в другую сторону. Сторешников слышал и видел, что богатые молодые люди приобретают себе хорошеньких небогатых девушек в любовницы, – ну, он и добивался сделать Верочку своею любовницею: другого слова не приходило ему в голову; услышал он другое слово: «можно жениться», – ну, и стал думать на тему «жена», как прежде думал на тему «любовница».

Это общая черта, по которой Сторешников очень удовлетворительно изображал в своей особе девять десятых долей истории рода человеческого. Но историки и психологи говорят, что в каждом частном факте общая причина «индивидуализируется» (по их выражению) местными, временными, племенными и личными элементами, и будто бы они-то, особенные-то элементы, и важны, – то есть что все ложки хотя и

ложки, но каждый хлебает суп или щи тою ложкою, которая у него, именно вот у него в руке, и что именно вот эту-то ложку надобно рассматривать. Почему не рассмотреть.

Главное уже сказала Жюли (точно читала она русские романы, которые все об этом упоминают!): сопротивление разжигает охоту. Сторешников привык мечтать, как он будет «обладать» Верочкою. Подобно Жюли, я люблю называть грубые вещи прямыми именами грубого и пошлого языка, на котором почти все мы почти постоянно думаем и говорим. Сторешников уже несколько недель занимался тем, что воображал себе Верочку в разных позах, и хотелось ему, чтобы эти картины осуществились. Оказалось, что она не осуществит их в звании любовницы, – ну, пусть осуществляет в звании жены, это все равно, главное дело не звание, а позы, то есть обладание. О, грязь! о, грязь! – «обладать» – кто смеет обладать человеком? Обладают халатом, туфлями. – Пустяки: почти каждый из нас, мужчин, обладает кем-нибудь из вас, наши сестры; опять пустяки: какие вы нам сестры? – вы наши лакейки! Иные из вас – многие – господствуют над нами, – это ничего: ведь и многие лакеи властвуют над своими барами.

Мысли о позах разыгрались в Сторешникове после театра с такою силою, как еще никогда. Показавши приятелям любовницу своей фантазии, он увидел, что любовница гораздо лучше, чем он думал. Ведь красоту, все равно что ум, что всякое другое достоинство, большинство людей оценивает с

точностью только по общему отзыву. Всякий видит, что красивое лицо красиво, а до какой именно степени оно красиво, как это разберешь, пока ранг не определен дипломом? Верочку в галерее или в последних рядах кресел, конечно, не замечали; но когда она явилась в ложе 2-го яруса, на нее было наведено очень много биноклей; а сколько похвал ей слышал Сторешников, когда, проводив ее, отправился в фойе! а Серж? о, это человек с самым тонким вкусом! – а Жюли? – ну нет, когда наклеывается такое счастье, тут нечего разбирать, под каким званием «обладать» им.

Самолюбие было раздражено вместе с сладострастием. Но оно было затронуто и с другой стороны: «она едва ли пойдет за вас» – как? не пойдет за него, при таком мундире и доме? нет, врешь, француженка, пойдет! вот пойдет же, пойдет!

Была и еще одна причина в том же роде: мать Сторешникова, конечно, станет противиться женитьбе – мать в этом случае представительница света, – а Сторешников до сих пор трусил матери и, конечно, тяготился своею зависимостью от нее. Для людей бесхарактерных очень завлекательна мысль: «я не боюсь; у меня есть характер».

Конечно, было и желание подвинуться в своей светской карьере через жену.

А ко всему этому прибавлялось, что ведь Сторешников не смел показаться к Верочке в прежней роли, а между тем так и тянет посмотреть на нее.

Словом, Сторешников с каждым днем все тверже думал

жениться, и через неделю, когда Марья Алексевна в воскресенье, вернувшись от поздней обедни, сидела и обдумывала, как ловить его, он сам явился с предложением. Верочка не выходила из своей комнаты, он мог говорить только с Марьею Алексевною. Марья Алексевна, конечно, сказала, что она, с своей стороны, считает себе за большую честь, но, как любящая мать, должна узнать мнение дочери и просит пожаловать за ответом завтра поутру.

– Ну, молодец девка моя Вера, – говорила мужу Марья Алексевна, удивленная таким быстрым оборотом дела, – гляди-ко, как она забрала молодца-то в руки! А я думала, думала, не знала, как и ум приложить! думала, много хлопот мне будет опять его заманить, думала, испорчено все дело, а она, моя голубушка, не портила, а к доброму концу вела, – знала, как надо поступать. Ну, хитра, нечего сказать.

– Господь умудряет младенцы, – произнес Павел Константиныч.

Он редко играл роль в домашней жизни. Но Марья Алексевна была строгая хранительница добрых преданий, и в таком парадном случае, как объявление дочери о предложении, она назначила мужу ту почетную роль, какая по праву принадлежит главе семейства и владыке. Павел Константиныч и Марья Алексевна уселись на диване, как на торжественнейшем месте, и послали Матрену просить барышню пожаловать к ним.

– Вера, – начал Павел Константиныч, – Михаил Иваныч

делает нам честь, просит твоей руки. Мы отвечали, как любящие тебя родители, что принуждать тебя не будем, но что, с одной стороны, рады. Ты как добрая послушная дочь, какою мы тебя всегда видели, положишься на нашу опытность, что мы не смели от бога молить такого жениха. Согласна, Вера?

– Нет, – сказала Верочка.

– Что ты говоришь, Вера? – закричал Павел Константиныч; дело было так ясно, что и он мог кричать, не осведомившись у жены, как ему поступать.

– С ума ты сошла, дура? Смей повторить, мерзавка-ослушница! – закричала Марья Алексевна, подымаясь с кулаками на дочь.

– Позвольте, маменька, – сказала Вера, вставая, – если вы до меня дотронетесь, я уйду из дому, запрете – брошусь из окна. Я знала, как вы примете мой отказ, и обдумала, что мне делать. Сядьте и сидите, или я уйду.

Марья Алексевна опять уселась. «Экая глупость сделана, передняя-то дверь не заперта на ключ! задвижку-то в одну секунду отодвинет – не поймает, уйдет! ведь бешеная!»

– Я не пойду за него. Без моего согласия не станут венчать.

– Вера, ты с ума сошла, – говорила Марья Алексевна задыхающимся голосом.

– Как же это можно? Что же мы ему скажем завтра? – говорил отец.

– Вы не виноваты перед ним, что я не согласна.

Часа два продолжалась сцена. Марья Алексевна бесилась, двадцать раз начинала кричать и сжимала кулаки, но Верочка говорила: «не вставайте, или я уйду». Бились, бились, ничего не могли сделать. Покончилось тем, что вошла Матрена и спросила, подавать ли обед, – пирог уже перестоялся.

– Подумай до вечера, Вера, одумайся, дура! – сказала Марья Алексевна и шепнула что-то Матрене.

– Маменька, вы что-то хотите сделать надо мною, вынуть ключ из двери моей комнаты, или что-нибудь такое. Не делайте ничего: хуже будет.

Марья Алексевна сказала кухарке: «не надо». – «Экой зверь какой, Верка-то! Как бы не за рожу ее он ее брал, в кровь бы ее всю избить, а теперь как тронуть? Изуродует себя, проклятая!»

Пошли обедать. Обедали молча. После обеда Верочка ушла в свою комнату. Павел Константиныч прилег, по обыкновению, соснуть. Но это не удалось ему: только что стал он дремать, вошла Матрена и сказала, что хозяйский человек пришел; хозяйка просит Павла Константиныча сейчас же пожаловать к ней. Матрена вся дрожала, как осиновый лист: ей-то какое дело дрожать?

VIII

А как же прикажете ей не дрожать, когда через нее сочинялась вся эта беда? Как только она позвала Верочку к папеньке и маменьке, тотчас же побежала сказать жене хозяйкина повара, что «ваш барин сосватал нашу барышню»; призвали младшую горничную хозяйки, стали упрекать, что она не по-приятельски себя ведет, ничего им до сих пор не сказала; младшая горничная не могла взять в толк, за какую скрытность порицают ее, – она никогда ничего не скрывала; ей сказали – «я сама ничего не слышала», – перед нею извинились, что напрасно ее поклепали в скрытности, она побежала сообщить новость старшей горничной, старшая горничная сказала: «значит, это он сделал потихоньку от матери, коли я ничего не слыхала, уж я все то должна знать, что Анна Петровна знает», – и пошла сообщить барыне. Вот какую историю наделала Матрена! «Язычок мой проклятый, много он меня губил!» – думала она. Ведь доследует Марья Алексевна, через кого вышло наружу. Но дело пошло так, что Марья Алексевна забыла доследовать, через кого оно вышло.

Анна Петровна ахала, охала, два раза упала в обморок – наедине со старшею горничною, – значит, сильно была огорчена, – и послала за сыном. Сын явился.

– Мишель, справедливо ли то, что я слышу? (Тоном гнев-

ного страдания.)

– Что вы слышали, маман?

– То, что ты сделал предложение этой... этой... этой... дочери нашего управляющего?

– Сделал, маман.

– Не спросив мнения матери?

– Я хотел спросить вашего согласия, когда получу ее.

– Я полагаю, что в ее согласии ты мог быть более уверен, чем в моем.

– Маман, так нынче принято, что прежде узнают о согласии девушки, потом уже говорят родственникам.

– Это, по-твоему, принято? быть может, по-твоему, также принято: сыновьям хороших фамилий жениться бог знает на ком, а матерям соглашаться на это?

– Она, маман, не бог знает кто; когда вы узнаете ее, вы одобрите мой выбор.

– «Когда я узнаю ее»! – я никогда не узнаю ее! «одобрю твой выбор»! – я запрещаю тебе всякую мысль об этом выборе! слышишь, запрещаю!

– Маман, это не принято нынче; я не маленький мальчик, чтоб вам нужно было водить меня за руку. Я сам знаю, куда иду.

– Ах! – Анна Петровна закрыла глаза.

Перед Марьей Алексевною, Жюли, Верочкою Михаил Иваныч пасовал, но ведь они были женщины с умом и характером; а тут по части ума бой был ровный, и если по ха-

рактеру был небольшой перевес на стороне матери, то у сына была под ногами надежная почва; он до сих пор боялся матери по привычке, но они оба твердо помнили, что ведь по-настоящему-то хозяйка-то не хозяйка, а хозяинова мать, не больше, что хозяйкин сын не хозяйкин сын, а хозяин. Поэтому-то хозяйка и медлила решительным словом «запрещаю», тянула разговор, надеясь сбить и утомить сына, прежде чем дойдет до настоящей схватки. Но сын зашел уже так далеко, что нельзя было вернуться, и он по необходимости должен был держаться.

– Матап, уверяю вас, что лучшей дочери вы не могли бы иметь.

– Изверг! Убийца матери!

– Матап, будемте рассуждать хладнокровно. Раньше или позже жениться надобно, а женатому человеку нужно больше расходов, чем холостому. Я бы мог, пожалуй, жениться на такой, что все доходы с дома понадобились бы на мое хозяйство. А она будет почтительною дочерью, и мы могли бы жить с вами, как до сих пор.

– Изверг! Убийца мой! Уйди с моих глаз!

– Матап, не сердитесь: я ничем не виноват.

– Женится на какой-то дряни, и не виноват.

– Ну, теперь, матап, я сам уйду. Я не хочу, чтобы при мне называли ее такими именами.

– Убийца мой! – Анна Петровна упала в обморок, а Мишель ушел, довольный тем, что бодро выдержал первую сце-

ну, которая важнее всего.

Видя, что сын ушел, Анна Петровна прекратила обморок. Сын решительно отбивается от рук! В ответ на «запрещаю!» он объясняет, что дом принадлежит ему! – Анна Петровна подумала, подумала, излила свою скорбь старшей горничной, которая в этом случае совершенно разделяла чувства хозяйки по презрению к дочери управляющего, посоветовалась с нею и послала за управляющим.

– Я была до сих пор очень довольна вами, Павел Константиныч; но теперь интриги, в которых вы, может быть, и не участвовали, могут заставить меня поссориться с вами.

– Ваше превосходительство, я ни в чем тут не виноват, бог свидетель.

– Мне давно было известно, что Мишель волочится за вашей дочерью. Я не мешала этому, потому что молодому человеку нельзя же жить без развлечений. Я снисходительна к шалостям молодых людей. Но я не потерплю унижения своей фамилии. Как ваша дочь осмелилась забрать себе в голову такие виды?

– Ваше превосходительство, она не осмеливалась иметь таких видов. Она почтительная девушка, мы ее воспитали в уважении.

– То есть что это значит?

– Она, ваше превосходительство, против вашей воли никогда не посмеет.

Анна Петровна ушам своим не верила. Неужели, в самом

деле, такое благополучие?

– Вам должна быть известна моя воля... Я не могу согласиться на такой странный, можно сказать, неприличный брак.

– Мы это чувствуем, ваше превосходительство, и Верочка чувствует. Она так и сказала: я не смею, говорит, прогневать их превосходительство.

– Как же это было?

– Так было, ваше превосходительство, что Михаил Иванович выразили свое намерение моей жене, а жена сказала им, что я вам, Михаил Иванович, ничего не скажу до завтраго утра, а мы с женою были намерены, ваше превосходительство, явиться к вам и доложить обо всем, потому что, как в теперешнее, позднее время, не осмеливались тревожить ваше превосходительство. А когда Михаил Иванович ушли, мы сказали Верочке, и она говорит: я с вами, папенька и маменька, совершенно согласна, что нам об этом думать не следует.

– Так она благоразумная и честная девушка?

– Как же, ваше превосходительство, почтительная девушка!

– Ну, я этому очень рада, что мы можем остаться с вами в дружбе. Я награжу вас за это. Теперь же готова наградить. По парадной лестнице, где живет портной, квартира во 2-м этаже ведь свободна?

– Через три дня освободится, ваше превосходительство.

– Возьмите ее себе. Можете израсходовать до 100 рублей на отделку. Прибавляю вам и жалованья 240 рублей в год.

– Позвольте попросить ручку у вашего превосходительства!

– Хорошо, хорошо. Татьяна! – Вошла старшая горничная. – Найди мое синее бархатное пальто. Это я дарю вашей жене. Оно стоит 150 рублей (85 рублей), я его только 2 раза (гораздо более 20-ти) надевала. Это я дарю вашей дочери, – Анна Петровна подала управляющему очень маленькие дамские часы, – я за них заплатила 300 р. (120 р.). Я умею награждать, и вперед не забуду. Я снисходительна к шалостям молодых людей.

Отпустив управляющего, Анна Петровна опять кликнула Татьяну.

– Попросить ко мне Михаила Иваныча, – или нет, лучше я сама пойду к нему. – Она побоялась, что посланница передаст лакею сына, а лакей сыну содержание известий, сообщенных управляющим, и букет выдохнется, не так шибнет сыну в нос от ее слов.

Михаил Иваныч лежал и не без некоторого довольства покручивал усы. – «Это еще зачем пожаловала сюда-то? Ведь у меня нет нюхательных спиртов от обмороков», – думал он, вставая при появлении матери. Но он увидел на ее лице презрительное торжество.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.